

## ЧУДО ШАЛАМОВА<sup>1</sup>

РИКАРД САН ВИСЕНТЕ  
*Барселонский университет*  
rsanvicente@ub.edu  
ORCID: 0000-0001-5306-6167

### АННОТАЦИЯ

Настоящая статья, созданная как комментарий к «Колымским рассказам», посвящена описанию последнего периода жизни и творчества Варлама Тихоновича Шаламова. Это художественное произведение представляет собой документальное отражение бесславной главы истории, полной политического насилия и бесчеловечности, дает возможность познакомиться с миром сталинских исправительно-трудовых лагерей, одним из крупнейших преступлений XX века. Сам факт того, что автор выжил, а его произведения сохранились, является настоящим чудом. Ведь то, что Шаламов не погиб в пучине лагерей, в процессе эксплуатации, обезчеловечивания и уничтожения, порожденном сталинским режимом, что он смог написать свои тетради, которые не только не исчезли на чердаках советской эпохи или в архивах КГБ, но и были опубликованы и дошли до нас, — все это нельзя назвать ничем иным, как чудом. Особое внимание уделяется тексту «Что я видел и понял в лагере», написанному Шаламовым и приобретенному музеем Шаламова в Вологде в 1996 году у бывшего офицера КГБ, отрывочной и незаконченной попытке писателя обобщить его не поддающийся описанию жизненный опыт.

*КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:* Варлам Шаламов, комментарий к «Колымским рассказам», ГУЛАГ, русская литература XX века, история политического насилия.

### SHALAMOV'S MIRACLE

RICARD SAN VICENTE  
*University of Barcelona*

### ABSTRACT

This article, created as a commentary on the «Kolyma Tales», is devoted to the description of the last period of the life and work of Varlam Tikhonovich Shalamov. This work of art is a documentary reflection of an inglorious chapter of history, full of political violence and inhumanity, and it gives an opportunity to get acquainted with the world of Stalin's labor camps, one of the biggest crimes of the 20th century. The very fact that the author survived, and his works survived, is a real miracle. After all, the fact that Shalamov did not die in the depths of the camps, in the process of exploitation, dehumanization and destruction, generated by the Stalinist regime, that he could write his notebooks, which did not disappear in the Soviet era or in the KGB archives, but were published and reached us — all this cannot be called anything but a miracle.

---

<sup>1</sup> Полная редакция текста, прочитанного в кратком варианте на пленарном заседании Международной Конференции Русистов [МКР -2018] в Барселонском Университете, Барселона, 22 июня 2018 г. Перевод Наталии Дворкиной..

Particular attention is paid to the text called "What I saw and understood in the camp," written by Shalamov and acquired by the Shalamov Museum in Vologda in 1996 from a former KGB officer, a fragmentary and unfinished attempt—to summarize writer's unspeakable life experience.

*KEYWORDS:* Varlam Shalamov, commentary on the "Kolyma Tales", GULAG, Russian literature of the twentieth century, history of political violence.

Как подойти к комментарию о «Колымских рассказах»? Можно ли что-то добавить к самому тексту, что-то прояснить в этом выдающемся произведении, в этих шести циклах, сокрушительных, ошеломляющих, правдивых, пугающих и все же прекрасных? Можно ли сказать что-то новое, представляющее собой еще одну попытку понять и быть понятым? Можно ли что-то привнести в эту бесславную главу истории, полную политического насилия и человеческой бесчеловечности, если, как мне кажется, у большинства читателей Шаламова уже создано представление о той реальности, о которой с документальной точностью повествует автор? Более того, читатели уже располагают достаточной информацией, чтобы познакомиться — если они еще не знакомы с ним — с миром сталинских исправительно-трудовых лагерей, одним из крупнейших преступлений XX века. В конце концов, есть ли у нас право на это, право вмешиваться в текст Шаламова?

Тем не менее, по-моему, будет совсем нелишним вспомнить, что сам факт того, что автор выжил, а его произведения сохранились, является настоящим чудом. Ведь то, что Шаламов не погиб в пучине лагерей, в процессе эксплуатации, обезчеловечивания и уничтожения, порожденном сталинским режимом, что он смог написать свои тетради, которые не только не исчезли на чердаках советской эпохи или в архивах КГБ, но и были опубликованы и дошли до нас, — все это нельзя назвать ничем иным, как чудом.

Саму жизнь Варлама Тихоновича Шаламова и то, что ему удалось перешагнуть рубеж семидесятилетия, тоже можно считать чудом, особенно если учесть, что речь идет о личности твердых, незыблемых принципов. Долгая жизнь человека, который отказывается встать на колени в мире, где даже деревья склоняются в попытке выжить в суровом климате, представляет собой нечто удивительное, с трудом поддающееся объяснению.

Еще сложнее понять, каким образом этот человек, прошедший через лагерь, после бесконечных лет заключения, лишений и мук, смог не просто выжить, но и написать свои рассказы. А особенно потрясает то, что эти рассказы, по своей силе напоминаящие пощечину палачам, служат, пожалуй, самым ярким, убедительным и веским аргументом против ужаса трудовых лагерей.

Большинство тех, кто пережил ужасы XX века, будь то жертвы нацизма, сталинских исправительно-трудовых лагерей или многочисленных войн, бушевавших на протяжении этого столетия, хранит молчание, стремясь забыть об этом. Большинство, но не Шаламов. Сам автор убежден в бесплодности, безуспешности и безнадежности попыток передать свои воспоминания, ощущения, чувства, впечатления и даже неоднократно предупреждает читателей, что об этом не стоит ни говорить, ни писать, ни читать. Однако, несмотря на все это, в 50–70-х годах, в своей комнатухе в окрестностях Москвы, а затем, уже после реабилитации, в столичной коммунальной квартире, он один за другим пишет в школьных тетрадях свои короткие, изящные и сокрушительные рассказы.

Помимо их самой заметной особенности — их литературного качества, четкости, лаконичности и простоты — поражает то, что они не исчезли, что их не постигла участь бесчисленного множества заметок, мемуаров, дневников, стихов, поэм, рассказов, повестей и драм, большинство которых было уничтожено советской властью или временем.

Давайте же ненадолго остановимся и познакомимся с последним периодом жизни автора, со временем, в котором Шаламов писал «Колымские рассказы», чтобы взглянуть на обстоятельства, сделавшие возможным это чудо.

13 октября 1951 года заканчивается срок заключения Шаламова. Он устраивается на работу в трест «Дальстрой», который управлял работой лагерей Дальнего Севера. Шаламов работает фельдшером в поселках Барагон и Кюбюма (Оймяконский район, Якутия). Пишет стихи и с помощью врача Елены Мамучашвили отправляет их в Москву, Борису Пастернаку. Так начинается переписка двух поэтов. Этим решающим моментом своей жизни Шаламов посвятил рассказы «Тропа» и «За письмом».

13 сентября 1953 года он увольняется из «Дальстроя», а 12 ноября возвращается в Москву, где ему запрещено жить, поскольку он еще не реабилитирован. Рассказом «Рива-Роччи», посвященным этой поездке и приезду в столицу, завершается цикл «Колымских рассказов».

Пожалуй, единственным памятным событием до отъезда за 101-й километр (границу зоны, в пределах которой не могли жить отбывшие наказание «враги народа» до реабилитации) становится встреча с Борисом Пастернаком на следующий день после приезда в Москву. Уже тогда Пастернак предлагает ему прочесть первую часть «Доктора Живаго». Пастернак слушает стихи Шаламова и читает ему стихи из «Доктора Живаго». На следующий день Шаламов отправляется в свою временную ссылку.

Ему удастся устроиться на работу агентом по снабжению на торфопредприятие в поселке Туркмен в Калининской области. Он начал заниматься литературой, и прежде всего поэзией, еще в лагере, но именно

в 1954 году, в те немногие свободные часы, которые остаются у него после работы, он начинает писать в школьных тетрадях свои «Колымские рассказы».

В 1956 году Шаламова реабилитируют «за отсутствием состава преступления». И только тогда, почти двадцать лет спустя, он возвращается в Москву.

Позади остаются не только два года бесполезной, тяжелой и не подходящей для него работы на торфопредприятии, но и первый период его творчества. В то время он написал половину стихотворений, которые войдут в «Колымские тетради», и, судя по датам, указанным автором, такие рассказы, как «Заклинатель змей», «Шерри-бренди», «На представку», «Хлеб» и некоторые другие из «Колымских рассказов».

Шаламов осознает, что первые литературные эксперименты тридцатых годов остались позади, и определяет основные черты своего нового стиля. Отказываясь от романов и беллетристики, он выбирает жанр рассказа, главной отличительной особенностью которого является высочайшая достоверность, выходящая за пределы того, что можно считать максимальной степенью правдивости. «Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономия, сжатая фраза без метафор, простое грамотное короткое изложение действия без всяких потуг на "язык московских просвирен" и т. д. И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, — детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем.»

Этот подход к уже сложившемуся, но еще не вполне определенному стилю впоследствии найдет свое отражение в его очерках и письмах, посвященных «новой прозе».

Шаламов работает внештатным корреспондентом литературного журнала «Москва». В № 5 журнала «Знамя» публикуются первые стихи из «Колымских тетрадей». Он расторгает свой первый брак и женится на Ольгой Неклюдовой, отношения с которой также будут сложными. Кажется, что никто не способен жить с этим человеком, вернувшимся из преисподней, не способен разделять радикальные этические взгляды на жизнь, сложившиеся у бывшего заключенного.

В 1957 году ему диагностируют болезнь Меньера и назначают инвалидность. В 1959—1962 годах он работает внештатным рецензентом журнала «Новый мир». В тот период его рукописи «встречаются» в редакции этого журнала с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Эта повесть, опубликованная в конце 1962 года, становится первым прозаическим произведением, посвященным «лагерной» теме. В том же году Шаламов написал Солженицыну длинное письмо с подробным анализом произведения и его идеологического и эстетического подхода. За несколько лет до этого он уже сделал что-то похожее в другом длинном

письме, отправленном Пастернаку, с подробным анализом его романа «Доктор Живаго».

Поздравив Солженицына и высказав несколько хвалебных комментариев в его адрес, Шаламов переходит к детальному анализу самого автора и его произведения, включающему (как следует из копий, сохранившихся в архиве Шаламова, поскольку Солженицын не дал разрешения на публикацию своей переписки с ним) даже такие замечания:

«Около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели»; «Блатарей в Вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей!..»; «Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.»

Как и следовало ожидать, реакция получателя на это письмо была не слишком положительной. С того времени отношения между обоими писателями стали натянутыми. Основная причина этого заключается в противоположности их взглядов как на сами исправительно-трудовые лагеря, так и на отношение к рассказу о них. Солженицын исходил из прагматичного подхода, в основе которого лежала возможность достижения его целей: самым важным было то, чтобы произведение дошло до читателя. Шаламов, напротив, стремился к максимальной правдивости своих документальных рассказов, невзирая на то, была ли эта правдивость угодна властям. Поэтому совсем неудивительно, что творчество Солженицына приобрело большую популярность в СССР и за рубежом, а произведения Шаламова остались «в столе» в журнале «Новый мир», передавались из рук в руки среди зарождавшегося диссидентства и в конце концов были отрывочно опубликованы («искалечены», по выражению автора) на Западе. Пессимизм, отточенная документальность и бескомпромиссная манера изложения Шаламова контрастируют с моральными взглядами Солженицына, близкими к воззрениям классического реализма. Когда он хотел привлечь Шаламова к совместной работе, Шаламов отказался сотрудничать с Солженицыным, сочтя это оскорбительным для себя как самостоятельного писателя, создавшего к тому времени три первых сборника «Колымских рассказов» и «Очерки преступного мира». Он также упрекнул Солженицына в том, что тот спекулирует страданиями других заключенных и использует чужую боль для собственной выгоды.

В шестидесятых годах в СССР публикуются только некоторые книги стихов Шаламова, такие как «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), сильно урезанные цензурой. В 1964 году был напечатан рассказ «Стланик» — единственный из рассказов о Колыме, опубликованных в СССР при жизни автора. В нем Шаламов рассказывает об этой карликовой сибирской сосне, которая стелется по земле с наступлением холодов; несмотря на весь символизм этого рассказа, цензура, по-видимому, сочла его не представляющим опасности. В том же

1964 г. в издательстве «Сталинский писатель» Шаламову официально отказано в публикации «Колымских рассказов» с формулировкой: «Герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична».

В феврале 1966 года, в связи с процессом против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые были осуждены за отправку своих произведений за рубеж и их публикацию там, Шаламов пишет анонимное «Письмо старому другу», которое распространяется в «самиздате». Это письмо, представляет собой пример участия автора в зарождавшемся диссидентском движении.

В тот период он знакомится с Ириной Сиротинской, которая, благодаря их тесной дружбе и своей работе в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, впоследствии станет хранительницей литературного наследия Шаламова и правопреемницей писателя.

В 1966-1967 годах Шаламов создает новый цикл «Колымских рассказов» — «Воскрешение лиственницы», посвященный Ирине Сиротинской.

В 1968-1971 годах он работает над автобиографической повестью «Четвертая Вологда», а в 1970-1971 годах пишет «антироман» «Вишера» и мемуары.

Здоровье Шаламова постоянно ухудшается. В 1972 году он узнает о публикации некоторых из «Колымских рассказов» на Западе, в журнале крайне консервативного толка и других эмигрантских изданиях («Новый журнал» в США). В ответ на это автор публикует в «Литературной газете» письмо, в котором выражает свой категорический протест против этих публикаций, которые, по его словам, нарушают авторскую волю и право. Многие из его коллег сочли это письмо, в котором Шаламов утверждает, что «проблематика "Колымских рассказов" давно снята жизнью», отречением от своего творчества, а некоторые из них порвали отношения с писателем. Солженицын даже заявил, что для него «Шаламов умер».

Помимо того факта, что эти публикации создают ему репутацию «антисоветчика» и лишают возможности печатать хотя бы стихи, Шаламова возмущает использование его лагерных текстов в качестве оружия в холодной войне между двумя политическими блоками. Одним словом, по его мнению, это была политическая экстраполяция его творчества с пропагандистскими целями, т. е. именно то, за что он так критиковал Солженицына, который, с точки зрения Шаламова, использовал свои произведения скорее в личных и политических, нежели в литературных целях. В письме Солженицыну, написанном после 1972 года, но так и не отправленном, Шаламов заявляет: «Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы – ее орудием».

В 1972 году выходит книга стихов Шаламова «Московские облака» и вскоре он вступает в Союз писателей СССР. В то же время он работает над циклом «Перчатка, или КР-2», которым намеревается завершить «Колымские рассказы».

В 1977 году издается книга стихов «Точка кипения». В связи с 70-летием он представлен к ордену «Знак почета», однако не получает его. Здоровье Шаламова становится еще хуже. Он начинает терять зрение и слух, усиливаются приступы болезни, которые приводят к потере координации движений.

В 1978 году в Лондоне, в издательстве Overseas Publications, впервые публикуются «Колымские рассказы» на русском языке, опять же без разрешения автора.

В 1979 году его здоровье совсем расстроилось. После нахождения в больнице, с помощью друзей из Союза писателей, его помещают в пансионат для инвалидов и престарелых.

В 1980 году Шаламов узнает о том, что ему была присуждена премия Пен-клуба Франции, однако он ее не получил. В 1980 и 1982 гг. в США публикуются первые английские переводы «Колымских рассказов», который встречает теплый прием.

В 1981 году в пансионате он переносит инсульт. Физическое и умственное состояние Шаламова крайне ухудшается. Восприятие реальности искажается, всплывают старые привычки заключенного, приобретенные в трудовых лагерях, и прежде всего — страх остаться без еды. Все это усложняет его отношения с другими пациентами и особенно с персоналом пансионата.

Мы и сейчас не располагаем достаточной информацией для того, чтобы понять, в какой степени Варлам Шаламов находился под контролем властей; тем не менее, с учетом той эпохи, наиболее вероятным представляется то, что он был окружен информаторами. Об этом говорит случай с выкраденными из его квартиры сотрудником КГБ рукописями, о чем речь пойдет в конце. В 1981 г. подборка его стихов — разумеется, опять без его ведома — публикуется в парижском журнале «Вестник русского христианского движения», из-за чего в СССР вновь разгорается скандал вокруг писателя.

15 января 1982 года, по заключению медицинской комиссии, этот старик, который до конца своих дней бормотал уже почти неразборчивые стихи, рождавшиеся в его страдающей душе, и на всякий случай прятал под подушкой сухари, был поспешно и без малейшего человеческого уважения переведен в интернат для психохроников. Через два дня, 17 января 1982 года, он скончался.

Его похоронили по православному обряду на Кунцевском кладбище в Москве.

В том же 1982 году в Париже вышло французское издание «Колымских рассказов» с предисловием Андрея Синявского. Так, после унижительной смерти, к Варламу Шаламову пришла слава.

Одно из размышлений Шаламова о литературе, написанное в 60-х годах и озаглавленное «Все или ничего», начинается так:

«В искусстве существует закон “все или ничего”, столь сейчас популярный в кибернетике. Иными словами, нет стихов менее квалифицированных и более квалифицированных. Есть стихи и не стихи. Это деление более правильное, чем деление на поэтов и не поэтов. Все нехудожественное в искусстве – антихудожественно, враждебно истинному искусству.» (Шаламов 2016: 382)

Это эссе, посвященное почти неуловимой грани в формальной стороне произведений, которая иногда возникает между посредственным и гениальным, между «все и ничем», даже в творчестве одного и того же автора, как нельзя лучше отображает отношение Шаламова к жизни и литературе. Его этический максимализм распространяется на его видение жизни. Он не знает полутонов в своем стремлении поступать правильно: не лгать, не занимать должностей, которые могут причинить кому-либо боль, или, просто-напросто, никогда не становиться причиной несчастий других. Одним словом, быть собой, оставаться верным своим принципам, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Этого кредо, которое было сродни толстовскому — такое же радикальное, как у пророка из Ясной Поляны, но с одним важным исключением — отсутствием какого-либо морализаторства и стремления учить людей, как жить... На протяжении этой долгой (для той эпохи) жизни он также был убежден в том, что у красоты нет ничего общего с моралью. Именно поэтому он, как это ни парадоксально, настаивает на том, что является наследником творцов Серебряного века, с их изысканным формализмом.

Если о нравственной целостности Шаламова свидетельствуют его рассказы, в которых за различными персонажами почти всегда просматривается автор и главный герой, то его эстетические критерии заслуживают отдельного краткого рассмотрения.

Творчество Шаламова представляет собой тщательно продуманный удар по насилию, один из тех ударов, которые, по мнению Бродского, выраженному в одном из его эссе, стоило бы нанести после чтения Платонова. Как пишет поэт, первое, что следовало бы сделать после прочтения его произведений, это отменить существующий миропорядок. В этом смысле творчество Шаламова является революционным, принадлежит перу автора, который находится в антагонизме с насилием, где бы и в каком виде оно не ни осуществлялось. Его главный вопрос – вопрос художника – «как рассказать о страшном, чтобы это находилось в рамках искусства». С формальной точки зрения ответ может быть

различным, поскольку он зависит от темы повествования. Проанализировав выразительные средства, к которым прибегает рассказчик, мы поймем, что каждый рассказ служит примером этого поиска, ведь практически ни один из них не построен по одной и той же схеме. Это яркий пример продуманной писательской виртуозности. Каждая история заслуживает особого подхода, а некоторые из них заслуживают и нескольких.

С другой стороны, речь идет о документальных произведениях. На их многочисленных страницах нет ни капли лжи, благодаря чему они, говоря словами самого автора, являются не просто свидетельством, а документом, доказательством на суде, посвященном тому, на что способен человек, до чего он может пойти в условиях, описанных Шаламовым.

Одним словом, Шаламов, как и некоторые современные писатели, превращает лично пережитую им разбитую вдребезги реальность в настоящую мозаику из рассказов, которые предстают перед нами, словно экспонаты музея насилия, в виде самых разных документов: заметок, зарисовок, кратких набросков, которые можно назвать уникальной и во многом универсальной философско-художественной антропологией (в КР, писал он, «показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного» - «О прозе»); с другой стороны, они также могут считаться поэмами в прозе, микроновеллами, приключенческими рассказами, повествованиями, полными символики, и, что важнее всего, подлинными произведениями искусства, которые по чистоте формы напоминают нетронутый колымский снег...

В кратком варианте заметки 60-х годов «Лучшая похвала», также опубликованном в сборнике «Все или ничего», Шаламов пишет:

«В моей жизни я получил две похвалы, которые я считаю самыми лучшими, самыми лестными. Одну — от генерального секретаря общества политкаторжан, бывшего эсера Александра Георгиевича Андреева, с которым я несколько месяцев вместе был в следственной камере Бутырской тюрьмы в 1937 году. Андреев уходил раньше меня, мы поцеловались, и Андреев сказал: "Ну — Варлам Тихонович, что сказать вам на прощанье, только одно — вы можете сидеть в тюрьме". Вторую похвалу я получил почти через двадцать лет — в ноябре 1953 года, при встрече с Пастернаком в Лаврушинском переулке: "Могу сказать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента — это пушкинское определение. Теперь любят ссылаться на авторитеты. Вот я тоже ссылаюсь — на авторитет Пушкина". Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно.» (Шаламов 2016: 27)

Естественно, последние слова относятся к поэзии, к поэтическим формам. Нельзя забывать, что Шаламов считал себя прежде всего поэтом и за свою жизнь написал более тысячи стихотворений. Он подчеркивал:

«У поэта путь один и тема его жизни — одна — которая высказывается то в стихах, то в прозе. Это не две параллельные дороги, а один путь. К

тому отрезку пути, который пройден прозой, автор уже не вернется в стихах» (эссе «Поэт и проза»). (Шаламов 2016: 350)

Идея о первичности эстетики, формального совершенства, распространяется и на прозу Шаламова. Формальная безупречность шаламовских рассказов определяет правдивость текста и, словно компас, «как поисковый инструмент», указывает путь к истине.

В завершение, в качестве своего рода подтверждения всего сказанного, хотелось бы привести текст, написанный Шаламовым и приобретенный музеем Шаламова в Вологде в 1996 году у бывшего офицера КГБ. Мне представляется, что эта очередная, отрывочная и незаконченная попытка писателя обобщить его не поддающийся описанию жизненный опыт (передачу которого читателю автор, как всегда, считает невозможной и, пожалуй, даже бесполезной) станет лучшим завершением этого краткого рассказа о Варламе Тихоновиче Шаламове.

#### ЧТО Я ВИДЕЛ И ПОНЯЛ В ЛАГЕРЕ

[Я понял] Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели -при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Главное средство растления души - холод. В среднеазиатских лагерях, наверное, люди держались дольше -там было теплее.

Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождаются в трудных, по-настоящему трудных - со ставкой жизни - условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а не в забое).

Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу - к остальному он равнодушен.

Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу.

Понял, что сталинские «победы» были одержаны потому, что он убивал невинных людей - организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня.

Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного - никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах - это религиозники-сектанты - почти все и большая часть попов.

Легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военные.

Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха.

Что народ различает начальников по силе их удара, азарту битья.

Побои как аргумент почти неотразимы (метод № 3)

Узнал правду о подготовке таинственных процессов от мастеров сих дел.

Понял, почему в тюрьме узнают политические новости (арест и т. д.) раньше, чем на воле.

Узнал, что тюремная (и лагерная) «параша» никогда не бывает «парашей».

Понял, что можно жить злобой.

Понял, что можно жить равнодушием.

Понял, почему человек живет - не надеждами - надежд никаких не бывает, не волей, - какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения - тем же началом, что и дерево, камень, животное.

Горжусь, что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду бригадиром, если моя воля может привести к смерти другого человека - если моя воля должна служить начальству, угнетению других людей - таких же арестантов, как я.

И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, - в этой великой пробе - и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса.

Горжусь, что ни одного заявления до 1955 года не писал.<sup>2</sup>

Видел на месте «амнистию Берия» - было чего посмотреть.

Видел, что женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин - на Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие (Файна Рабинович, жена Кривошея).<sup>3</sup>

Видел удивительные северные семьи (вольнонаемных и бывших заключенных) с письмами «законным» мужьям и женам и т. д.

Видел «первых Рокфеллеров», подпольных миллионеров, слушал их исповеди.

Видел каторжников, а также многочисленные «контингенты» «Д», «Б» и т. п. «Берлаг».

Понял, что можно добиться очень многого - больницы, перевода, но рисковать жизнью - побои, карцерный лед.

Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нем провел одну ночь.

Страсть власти, «свободного» убийства велика - от «больших» людей до рядовых оперативников с винтовкой. (Серошапка и ему подобные)<sup>4</sup>.

Неудержимую склонность русского человека к доносу, к жалобе.

Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. 95 % трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости. Убежден, что лагерь - весь отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя - это час растления. Никому, никогда, ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. На всех - заключенных и вольнонаемных - лагерь действует растлевающее.

В каждой области были свои лагеря, на каждой стройке. Миллионы, десятков миллионов заключенных.

Репрессии не касались только верха, а любого слоя общества - в любой деревне, на любом заводе, в любой семье были или родственники, или знакомые репрессированных.

Лучшим временем своей жизни считаю месяцы, проведенные в камере Бутырской тюрьмы, где мне удавалось укрепить дух слабых и где все говорили свободно.

Научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше.

Понял, что воры - не люди.

Что в лагере никаких преступников нет, что там сидят люди, которые вчера были рядом с тобой (и завтра будут), которые пойманы за чертой, а не те, что переступили черту закона.

Понял, какая страшная вещь - самолюбие мальчика, юноши. Лучше украсть, чем попросить, похвальба, и это чувство бросает мальчиков на дно.

Женщины в моей жизни не играли большой роли - лагерь тому причиной.

Что знание людей - бесполезно, ибо своего поведения в отношении любого мерзавца я изменить не могу.

---

<sup>2</sup> В 1955 году Шаламов написал заявление на реабилитацию.

<sup>3</sup> Шаламов 2005b: 1, 531-571.

<sup>4</sup> Шаламов 2005a: 1, 54-56.

Последние в рядах, которых все ненавидят - и конвоиры, и товарищи, - отстающих, больных, слабых, тех, которые не могут бежать на морозе.

Я понял, что такое власть и что такое человек с ружьем.

Что масштабы смещены, и это самое характерное для лагеря.

Что перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации.

Что писатель должен быть иностранцем в вопросах, которые он описывает. А если он будет хорошо знать материал - он будет писать так, что его никто не поймет. (Шаламов 1996)

На этом рукопись обрывается. Она заполнила обычную ученическую тетрадь в линейку выпуска третьего квартала 1961 года.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

ШАЛАМОВ, В. (2016), *Всё или ничего: Эссе о поэзии и прозе*, Санкт-Петербург, Лимбус Пресс.

ШАЛАМОВ В. (1996), *Что я видел и понял в лагере*, цит. по <https://shalamov.ru/library/29/>

ШАЛАМОВ В. (2005a), *Ягоды*, in ШАЛАМОВ В. *Собрание сочинений в 6 томах*, т. 1, 54-56.

ШАЛАМОВ В. (2005b), *Зеленый прокурор*, in ШАЛАМОВ В. *Собрание сочинений в 6 томах*, т. 1, 531-571.

ШАЛАМОВ, В.Т. (2005c), *Собрание сочинений в 6 томах*, Москва, Терра - Книжный клуб.